

Одним из главных событий уходящего года стал столетний юбилей Первой мировой войны. В Европе и даже в далёкой Австралии и Новой Зеландии прошли помпезные мероприятия. Опубликованы тома солидных исследований. За всем этим как-то забылось: война — не только сражения армий, битвы экономик, соревнование политических волей. Это человеческие трагедии прежде всего! Напоминая эту простую истину, забвение которой чревато неисчислимыми бедами, редакция публикует трогательную переписку молодой влюблённой пары тех лет. Переписку, оборванную гибелью прапорщика Витольда Ярмоловича в боях за Карпаты.

АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ

ПОЧТОВЫЙ РОМАН

В годы Первой мировой войны немало русских людей уходило добровольцами на фронт; были среди них и девушки-дворянки, которые становились сестрами милосердия. Одна из них — рязанка Анна Ивановна Мельгунова, младшая дочь коллежского регистратора, потомственного дворянина Ивана Николаевича Мельгунова и его жены Анны Александровны, урождённой Ершовой.

В Рязани, на улице Некрасова (бывшей Болдыревской), сохранился дом, в котором жили Мельгуновы и где до сих пор живут их потомки. Здесь-то в середине 1960-х годов и был обнаружен семейный архив времён Первой мировой войны. Марина Мирчетич, внучка Анны Ивановны Мельгуновой, в ту пору студентка педагогического института, затеяла разборку вещей в старом сарае, который затерялся в углу двора среди других хозяйственных построек их фамильной усадьбы, и случайно наткнулась на старую запылённую корзину, к которой, очевидно, много лет никто не притрагивался. В корзине хранилась переписка её бабушки, относящаяся к 1916 году, из которой открылась трагическая история любви сестры милосердия Анны Мельгуновой и прапорщика Витольда Ярмоловича. В одной пачке с письмами Ярмоловича Марина обнаружила и ответные послания бабушки к нему, невесть как здесь очутившиеся. (Позднее Марина догадалась, что эти письма передала на память Анне Мельгуновой сестра её адресата.)

Участников той давней переписки давно уже не было в живых, и Марина стала читать пожелтевшие от времени листки... С любезного разрешения Марины Светозаровны Мелешковой, урождённой Мирчетич, мы публикуем часть переписки из архива её бабушки, Анны Ивановны Мельгуновой. Сегодня эти частные письма уже принадлежат истории. Но сначала вкратце познакомим читателей с участниками переписки.

Анна Мельгунова родилась 29 марта 1893 года в Рязани и была восьмым ребёнком в семье. Её раннее детство прошло в родной усадьбе, расположенной в центре города, где неподалёку простиралась набережная Трубежа, а из резной беседки открывался чудесный вид на заокские дали. Девочка получила

хорошее домашнее образование, а когда подросла, её отдали учиться в частное учебное заведение Веры Павловны Екимецкой, в 1901 году преобразованное из училища первого разряда в женскую гимназию, наделённую правами министерских гимназий. Это учебное заведение славилось на всю губернию своими педагогами, работавшими в тесном контакте с семьями и успешно применявшими в процессе обучения наглядность.

Анна Мельгунова считалась одной из лучших гимназисток. После окончания гимназии девушка отправилась в Москву и поступила на историко-филологический факультет Высших женских курсов, учреждённых В. А. Полторацкой. Здесь-то, в Первопрестольной, в жизни Анны и произошло событие, на всю жизнь оставившее след в её сердце.

На впечатлительную девушку неизгладимое впечатление произвёл Витольд Фаддеевич Ярмолович. К сожалению, сведений об избраннике сердца Анны Мельгуновой дошло до наших дней не очень много. Очевидно, он был выходцем из Белоруссии или Прибалтики. Родился 10 июля 1891 года. В отроческие годы Витольд учился в Рижской Александровской гимназии, о чём свидетельствует похвальный лист, выданный 10 января 1905 года. Вот полный текст его заголовка: «Похвальный лист от педагогического совета Рижской Александровской гимназии».

Университет окончил в Москве. Здесь судьба и свела его с курсисткой Мельгуновой. Чувства очаровательной рязанки не остались без ответа; завязался роман, но все мечты и надежды влюблённых разрушила разразившаяся война.

Ярмолович сначала был направлен рядовым в 57-й пехотный запасной батальон, а затем, в октябре 1915 года, – в Александровское военное училище, на краткосрочные курсы унтер-офицеров. По окончании курса 1 февраля 1916 года он был произведён в прапорщики армейской пехоты и направлен в действующую армию. 3 марта Ярмолович был зачислен младшим офицером в 5-ю роту 51-го пехотного запасного батальона.

Анна Мельгунова, охваченная патриотическим порывом, отправилась в Петроград и поступила на курсы сестёр милосердия. В течение семи недель девушка изучала медицинские премудрости и 8 января 1915 года получила свидетельство об окончании курсов. Анна вернулась в Рязань и стала работать сестрой милосердия в одном из военных госпиталей. Девушка ни на минуту не забывала о своём возлюбленном и едва ли не ежедневно отправляла ему письма. Ярмолович пространно отвечал, и невзрачные на вид серые конверты, в которых заключались пылкие признания, один за другим приходили в Рязань. Поскольку в военное время письма могли затеряться в пути, влюблённые договорились нумеровать их. Анна, вернувшись домой из лазарета, интересовалась, не было ли ей письма, а если таковое имелось, она спешила в свою комнату, затворяла двери и со слезами на глазах читала обращённые к ней признания Витольда. Потом присаживалась к столу и писала ответ:

Рязань, 19 марта

Как приятно возвращаться из лазарета и находить Ваше письмо. Сегодня мама сказала, что она ревнует меня к Вам. Как только я прихожу, сейчас же иду в свою комнату, затворяю двери и начинаю читать письмо. А раньше я всегда здоровалась и долго делилась своими впечатлениями.

Вы пишете, что у Вас не сил, а желанья нет расстаться с мыслью обо мне, а силы, значит, есть? Ну, а у меня и сил нет...

Хорошие отзывы Вашей сестры мне очень приятны, она заочно мне всегда была очень симпатична. И если представится случай, то я, преодолев свой страх, с удовольствием познакомлюсь с ней.

Относительно гимназии ещё ничего не знаю, слишком серьёзно я на неё смотрю, чтобы решить так скоро. К тому же я ещё никак не могу собраться с мыслями и подумать хорошенько <...>.

Ваша А. М.

Рязань, 21 марта

Сегодня письма опять нет. Завтра буду ждать <...>. Неужели опять не будет? Для меня Ваши письма стали потребностью, поэтому вчера и сегодня особенно нервничаю. Как-то даже странно мне порою, уж очень быстро всё это произошло. Загадки, конечно, были и раньше, иначе быть не могло.

Пишите чаще, уж очень тоскливо мне, спасает только лазарет, много тяжело раненных, на них невольно затрачиваешь много сил. Теперь к моей работе присовокупилась и общественная черта – раненых ждут много, открывают новые лазареты, и мы снова там нужны. Это даёт мне большое удовлетворение: сейчас я не могла <бы> не работать.

Напишите мне всё подробно. Завтра Вам буду писать в дежурке.
Ваша А. М.

В марте 1916 года Ярмолович занедужил и угодил в московский госпиталь. Но что для влюблённого болезни? Главное – он в столице, за каких-нибудь двести верст от Анны! Витольд писал в Рязань:

Только что подписано мне предписание отправиться опять в Московский военный госпиталь <...>. В Москве есть у меня телефон, по которому можно говорить с Рязанью <...>, оттуда я смогу, может быть, уехать на несколько часов к Вам. Жаль, что здоровьем от этого не лучше <...>. Отрадно, что стоит хорошая погода. Под вечер гуляю один. Отношу письма на почту, затем иду в лес. Гуляю, читаю немного на полянках и думаю о Вас. Всегда думаю <...>. Выпишусь, день-полдня отдам Рязани, день проведу дома и уеду <...>. Скорей бы наступление. Тогда бы началось наступление одиночным порядком, без маршевых рот. Это дало бы возможность уехать без особых хлопот по сопровождению солдатских эшелонов, да и скорее можно было бы выбраться отсюда, что главным и является для меня... Разве мало того, что есть. Кажется, больше бы и душа не выдержала. Разве можно как-нибудь ещё больше, ещё лучше любить Вас? Должно быть, нет <...>. Было бы можно, сильнее бы и любил. Сказка моя милая-милая! Если бы Вы знали, как Вы мне дороги.

Ваш Витольд Фаддеевич.

Анна с нетерпением ждала приезда Витольда в Рязань и сообщала ему 25 марта:

Написала Вам сегодня, кажется, очень дикое письмо. Сейчас хочется писать ещё, даже не знаю – что, а просто хочется.

Вот сижу весь вечер дома и думаю о Вас, даже досадно! Ну, почему Вас нет со мной? Лежит сейчас бедняцкий в госпитале, ухаживают там какие-то чужие сёстры, а я сижу одна. Если бы я только могла, то сию же бы минуту выехала в Москву.

Я во всём этом мало узнаю себя, до сей поры я была удивительно сдержанна, а сейчас даже и не хочется себя сдерживать.

Но тут сама судьба, очевидно, испугавшись моего свободомыслия, преградила все пути. Что ж, приходится подчиниться! Пишите как можно чаще.

Ваша А. М.

Витольд приезжал к Ане в Рязань, бывал в их доме на Болдыревской улице. Влюблённые подолгу сидели на скамейке в мельгуновском саду, гуляли по городу, в сквере над Трубежем – рекой, окаймляющей кремлёвский холм в Рязани. Расстались – и опять связующими звеньями их чувств стали письма. Анна писала Витольду едва ли не ежедневно, при первой возможности.

Рязань, 12 апр<еля>

Вчера не успела написать Вам. Помимо всех дел, у меня целый день кто-нибудь был. Мои милые знакомые решили, что в праздники меня можно развлекать на дежурстве (обыкновенно я в лазарете никого не принимаю). Они, конечно, не предполагали, что только мешают мне думать о Вас и писать Вам. В конце концов, я так устала, что прямо повалилась на свой диван. Решила написать сегодня утром и отвезти на вокзал.

Мне с каждым днём всё тоскливее без Вас. Живу только мыслью о своей поездке в Москву <...>.

Соскучилась ужасно, даже жутко! Ваше стремление на фронт возмущает меня, не посылают – значит, там Вы ещё не нужны, или, во всяком случае, менее нужны, чем мне <...>. Письма буду ждать каждый день.

Ваша А. М.

Рязань, ночь на 19-е

Милый, дорогой, любимый, хотелось сказать сегодня по телефону, но при всём желании не могла, так и ушла с чувством чего-то недосказанного. Долго ходила одна по улицам – грустно, грустно было. Все эти дни думаю о Вас очень много, почти всё время <...>. Ночью, после Вашего отъезда, просыпалась всё время, и, конечно, мысль о Вас не покидала меня. Теперь сплю крепко, так как очень устаю, работаю много, и как-то особенно не жаль сил, сейчас ничего не нужно.

Сегодня осталась на перевязки после дежурства, платила свой долг за вторник <...>.

Как сейчас хочется видеть Вас, говорить с Вами, а Вы всё дальше и дальше уезжаете от меня (поезд Ваш уже ушёл, сейчас половина первого).

Писать буду часто.

Всего, всего хорошего.

Ваша А. М.

Рязань, 22 апр<еля>, вечер

Много я нервничала эти дни. Уж очень Вы напугали меня, сказав, что Ваше письмо может меня огорчить <...>. В конце концов, я решила твёрдо, что середины сейчас уже быть не может, и если я увижу хоть маленький шаг к отступлению, то уйду сейчас же совсем и бесповоротно. Или же окончательно отдамся своему чувству. Страдать от неполноты я ни в коем случае не хотела <бы> <...>.

Ваше письмо подали в конце перевязок, и сразу ждать я не могла, вынужденная до того, что когда отдали, была очень близка к истерике, но, конечно, сдержала себя. Страх оказался меньше, чем я думала. Стало легче, и всё же не совсем легко. Я даже не могла разобраться, почему так тяжело <...>. Но теперь всё выяснилось, и я уже свободно могу сказать, что люблю, люблю безумно, как ещё никогда никого не любила, потому что никогда не отказывалась от своей свободы, и никогда не решалась ни на один смелый шаг. А сейчас мне всё равно. Хочу только видеть Вас <...>.

Лазарет, 30 мая

№ 8

Сегодня опять нет письма, я немного спокойнее, отношу это на счёт почты. Но ведь мне важно знать всё то новое, что происходит сейчас у Вас <...>.

Мне вчера очень предлагали поехать сестрой в 38-й передовой отряд – он в пятой дивизии первой армии. Но я отказалась. Не тянет меня туда, да и Вы не хотите, и мама слышать не хочет. Но в то же время Вы можете попасть именно туда?

Вчера вечером Вам не писала, вернулась поздно и очень устала, почти сразу легла.

Сейчас пишу в дежурке, окно открыто, слышна музыка из сквера. Помните, как в прошлом году сидели там совсем чужие? А теперь! Как люблю я Вас теперь <...>.

В ответных посланиях Ярмоловича из госпиталя речь идёт не только о предмете его страсти, но также о литературе, поэзии, философии, что свидетельствует о его интеллигентности и образованности:

Соскучился я без Вашего голоса. Милый, полный жизни, радостной энергии, он как-то сразу сегодня захватил всю душу. Сразу стало так радостно, так полно у меня где-то в самом дорогом уголке моей жизни. Хорошо мне всё-таки с Вами, Анна Ивановна. Какая-нибудь нежная строчка письма, открытки с видами Трубежа, звук Вашего голоса в телефоне – и мне уже хорошо-хорошо. Почти совсем. Почти, а не вполне – потому, что вполне никогда не может быть: ведь мы, как и прежде, всё те же две целых единицы <...>.

В госпиталь вернулся на извозчике. Трамваи почему-то стали; что-то похоже на стачку вагоновожатых: ток был. Не по-офицерски это, но был доволен: на извозчике, одному, так удобно думать о “ком-то”, и можно долго думать. Всё подскажет воображение; одно не удаётся – как произойдёт эта близкая встреча? А Вы знаете что-нибудь о ней? Или, действительно, придётся всё доверить той “психике войны”, о которой писал я вчера в своём восторженном письме? Должно быть, всё так и будет. Признаюсь, я сейчас твёрдо знаю одно: что, не будь войны, Вашего дела вне Москвы, моего Зубцова,

полубродячей жизни, я многое бы иначе делал, иное говорил (но не иное чувствовал!), потому что сил было бы больше... или, нет, силы и сейчас есть в той же мере, но расчётливости-то уже не стало. На что беречь, когда воля уступила место случаю, не из бессилия, а из простого сознания, что при господстве случая усилия воли, опирающейся всегда на постоянство известных законов, попросту свелись бы к борьбе с ветряными мельницами <...>.

Наконец Ярмолевич поправил здоровье и был направлен в действующую армию. В письме, отправленном 1 июля 1916 года из-под Минска, ощущается пока ещё невнятная тревога:

Стоим третий час и не можем доехать 37 вёрст. Оттуда – новое назначение. Не спешим: едем не срочным эшелоном, т<о> е<сть> пропускаем эшелоны скота, артиллерии и – в обратном направлении – раненых. Я – на родине. На одном полустанке ушёл в деревню, типичную белорусскую деревню – грязную, забытую. Ловишь ухом экс-филолога “дзеканье” в речи, направление “праз лес” (через, сквозь лес). И очень мало мысли о будущем. Да его и нет в сознании. Живёшь абсолютно настоящим и недавним прошлым. Настоящее – это выходы на остановках, разговоры с солдатами, шутки и покрикивание, недолгие беседы со спутниками; прошлое – всё в тебе, о тебе, для тебя. Ни о чём другом и не думается. Сознательно раньше я поставил себе задачей сузить всё до самого необходимого или дорогого. И остались только взгляды да ты. Так с этим и еду, и пойду.

Как странно! Я совсем не знаю, что ты делаешь. Сегодня ведь дежуришь. Это даст возможность яснее увидеть тебя в мыслях. Хорошенькая сестрица в светло-сером. И красный крестик, маленький и знакомый, на груди. Милый, услужливый крестик.

Родная моя! Как дорого мне вспомнить последнюю нашу встречу. Так просто, так решительно приближалась ты ко мне. Я чувствовал, что я уже так мало чужой – так мало привыкать ко мне осталось <...>.

Твой Толя.

Если в Минске простоишь больше суток, оттуда напишу сегодня или завтра утром. Дело в том, что в большие города нас впускают поочередно: может быть, только к ночи придёт очередь нашему эшелону. Время терпит.

В следующем письме (от 2 июля), отправленном уж из Минска, рисуется жизнь прифронтового города:

Вчера, часа в 4 дня, прибыли. Живём в офиц<ерском> общежитии, т<о> е<сть> в особом флигеле, где спать приходится на полу и соломенных матах; я-то устроился на койке, но их очень мало. Город шумный, столица ближнего тыла. Поражает обилие расфранчённых полувоенных, штабных чиновников, полковников, чистеньких вольноопределяющихся с унив<ерситетскими> значками. Всё это чванится, спасаясь в тылу. Очень мало <...> нас, прапорщиков. По улицам всё время – автомобили, артилл<ерийские> повозки. Проходит молодцеватая гвардия, маршевые роты. По ночам редкие тревожные гудки о приближении аэроплана. Много кафе, женщин, сестёр. Атмосфера северянских удовольствий.

Вечером – новое письмо Витольда под № 7:

Сегодня ещё здесь. Перевели нас из одной армии в другую, и потому только завтра получим другое направление. И, кажется, нужно будет идти пешком. Завтра утром всё выяснится. Днём летал над нами “Gaupe” – высоко-высоко, беленький, со стрекозиными крылышками. Наши гаубицы открыли огонь. И вот на синеве неба посреди лёгких облаков стали вспыхивать новые облачка от снарядов. И долго ещё потом они не рассеивались. Публика вся с любопытством следила; только еврейки, которых здесь уж очень много, подняли шум. Для меня это – новинка, и пока интересная. Город уже надоел. Провинциальная грязь, армейский шум, дешёвый дендизм – и только. Сегодня зашёл в костёл и собор, самые красивые и единственные не опошленные общественные здания. А сейчас отнесу письмо на вокзал (он недалеко), вернусь домой и займусь чтением, пока есть книги. Аня моя дорогая! Когда-то я прочту твоё письмо. Ведь вот уж давно-давно не было любимых строчек, которые всё-таки “готические” по характеру, хотя ты и не хочешь считаться с моим определением.

Вот письмо, написанное вечером 3 июля 1916 года в Минске:

Аня, моя родная! Как я соскучился по тебе. Сегодня почему-то особенно грустно без тебя. Должно быть, полосой находят сильные настроения или уж очень надоедает ожидание и тянется сильнее душа к оставленной красоте. А какая же красота переживаний пройдёт мимо Чёрного моего Котика?

Сейчас, наконец, сообщили о дальнейшем. Начальник эшелона и его помощник <...> возвратятся назад. Поведёт эшелон мой командующий ротой, а я на его место принимаю роту. Идти пешком вёрст сто до штаба <...> дивизии, здесь и получим окончательное назначение. Новый начальник эшелона – энергичный, и потому для нас есть подводки, хотя, строго говоря, переходы от этапа к этапу очень невелики, так что и пешком не очень трудно было бы. Завтра в шесть утра уйдём из нового Вавилона. И Бог с ним. Не лежит у меня сердце к этому городу.

Если бы ты знала, как мы упростили наши потребности! Всё уложено так, что лишь самое необходимое лежит под рукою либо висит на мне. Папиросы в висячем портсигаре; открытки, секретки и карандаши – в висячей полевой сумке, где карты и документы; чернила и перо – в саквояже вместе с книжками и “несессером”; принадлежности для еды – у денщика, молоденького татарина, умницы, старательного и, конечно, боящегося меня, как огня. Жаль, что нет твоей карточки, которую можно было бы носить всегда при себе. Но ты пришлешь её... Я жду только с нетерпением, когда, – может быть, из дивизии – смогу тебе отправить телеграмму с адресом.

Какое же счастье – получить от тебя письмо! Я уже таким далёким и несбыточным считаю всё, что в Рязани. Сейчас могу мечтать лишь о письмах.

Ну, пока – до новой остановки, где-нибудь на этапе... Чуть не забыл! Прочти в № 27 журнала “Весь мир” стихотворение “Рубили старый сад”, прекрасное – и видно, что прапорщик писал. Я даже здесь не отстаю от привязанности к поэзии.

Твой Толя.

Следующие сохранившиеся письма Ярмоловича, очевидно, были написаны из небольшого прикарпатского городка. Как известно, тогда, летом 1916 года, войска русского Юго-Западного фронта осуществили удачную наступательную операцию (так называемый Брусиловский прорыв) и очистили от противника территорию Буковины и Южной Галиции.

Письмо под № 14 отправлено непосредственно с фронта, из расположения 253 пехотного Перекопского полка 64-й дивизии:

Только сегодня пришло назначение в роту. Этим окончательно выяснилось положение в полку, а завтра под вечер уже снимаемся с места. Идём недалеко! Меняем деревню из-за дурной воды. К полуночи уже будем где-нибудь в новой деревне возле местечка М...

Ещё лишний раз приходится поблагодарить свои два значка! Перед ними чувствуют потребность расшаркиваться даже батальонные командиры. Это вопрос не карьеры, а просто надлежащего отношения к тебе.

Теперь – за дневник, т. е. попросту начну тебе перечислять свои небогатые впечатления. Вчера наскоро солдаты устроили сами спектакль, танцы, дивертисмент. Было много в этом милого, наивного и простого, но грубо стало новилось только тогда, когда какой-нибудь солдат из “городских” подносил “культурную” шансонетку. Познакомился я здесь со всеми офицерами, остатками от великих боёв (эвакуируется каждый раз до 85% – большею частью, без особой нужды). Сошёлся по-хорошему с одним прапорщиком запаса из межевиков. Тихий такой, совсем ещё “штатский” <...>. А поздним вечером занялся чтением. И странным показалось оно после недолгого перерыва: за это время ведь произошло какое-то внутреннее отречение от самого главного, от своих склонностей.

Числа 16-17-го буду ожидать от тебя письма. Этот офицер-межевик сказал, что он получил на 5-й день письмо из... Зарайска. И Рязань знает. Конечно, весь вечер я с удовольствием провёл с ним. Своим, родным и далёким повеяло от этого знакомства. А, кажется, как мало оснований – ведь только Зарайск, только Рязань...

Твой Толя.

В своих посланиях из расположения дивизии Витольд успокаивает Анну (письмо от 15 июля):

Моя царевна! Опасности снова никакой. Вчера перед отходом узнали, что другой полк встаёт на позиции, а мы становимся в резерв. Ушли опять на ночь в поход, я — снова на лошади вместе с молодым жеребёнком, с которым мы уже друзья. Дорога была очень красивой — поля, перелески, лощины; дороги все уже выправлены, чего никогда не знала Белоруссия; а вдали поднимались снова ракеты. И я всё-таки по-детски глубоко верил, что там, вдали, город, большой, весь в электричестве. И странно тоскливо было. Чего мне было жаль? Москвы ли? Ведь я совсем-совсем оставил её. И, право, мне роднее была мысль об электрических фонарях где-нибудь у собора в Рязани, у Трубежа.

Боже мой! Как я люблю тебя. Вот здесь столько нового, а я немного занят всем этим. Я весь всё так же живу тобою. Я ещё больше, кажется, стал жить тобою: ведь ты для меня теперь всё, что красиво, что дорого, что понятно.

Стоим в лесу. Денщики всё устроили — палатку, койки, столы, площадку перед нашей обителью, посаженную деревьями. Почти роскошно живём <...>. Сегодня аэроплан стрелял по нам из пулемёта, но в никого не попал, и никто его не боялся.

Ждём корпусного нового! Нас бросают из корпуса в корпус, смотря по надобности. Слава дивизии — как у сибирцев: с ними рядом всё время и сражаются наши полки. Сейчас мы стоим, кажется, с целью всё-таки отдохнуть. Для меня это, конечно, безделье...

В письме от 18 июля 1916 года Витольд даёт волю чувствам:

Сегодня чудный, счастливый день: пришло твоё письмо. И хорошо мне, что именно ты — самая дорогая, любимая — первая написала мне из всех моих возможных корреспондентов. Аня, моя чудная, если б ты знала, как я соскучился без этих милых нежных строк, без тебя — ведь в этих письмах теперь для меня ты вся <...>. В субботу узнали о новом прорыве под Ковелем (мы здесь узнаём телефонограммой к вечеру), и сразу же пришло известие, что мы отходим за ненадобностью назад и через день “грузимся”, т<о> е<сть> садимся в вагоны и идём в известном направлении. С этой мыслью мы и выступили ночью. Что это был за поход, трудно описать. Позади поднимались ракеты, гремели взрывы орудий (на нашей позиции был частный успех), на небе — громаднейшие тучи, из которых хлынул ливень с грозой. Темно было так, что лошадь только инстинктом чуяла впереди идущую роту; мы все смотрели вперёд, как в чёрную стену. Все тучи вылились на нас. И вот среди этой темноты и ливня понесли солдатские песни: солдаты пели сами, по своей воле, как будто из детского задора, озорства перед судьбою.

К утру пришли в деревню. Здесь мы только сегодня узнали, что простоим несколько дней, и уже сегодня возобновили занятия: ружейные приёмы, отдавание чести, выправка...

Кстати, мне “повезло”. Оказывается, я как окончивший военное училище имею лестное преимущество перед всякого рода другими прапорщиками: я зачисляюсь в кадр полка, тогда как те только прикомандировываются. Это даёт мне право оставаться в полку в мирное время без особой аттестации офицерства и потому... меня долго могут не отпустить. Вторая моя “удача” уже совсем комична: я издала понравился командиру полка и начальнику дивизии своей “энергичностью”, т<ак> к<ак> я-де бил солдата. А я только потом вспомнил, что взял да повернул солдату голову направо, что издала и дало впечатление мордобития. Как бы то ни было, но командир полка уже сегодня высказал желание назначить меня начальником полицейской команды (соблюдение внешнего порядка на постое) и комендантом (заведование расквартированием полка, переговоры с жителями, возмещение убытков...). Конечно, откажусь.

Жаль, что письма пропадают. Не пропало ли письмо из Минска, где я пишу о стихотворении “Рубили старый сад”? Напишу теперь. Купи его: это № 27 журнала “Весь мир”. Я это стихотворение ношу с собою в полевой сумке <...>. Со странной жадностью ловлю теперь я всё красивое: закатную полосу на небе, красивое стихотворение, чутко исполненный дуэт с гитарой двух моих коллег. Это тоска о тебе, моя любимая царевна. И знаешь, как я свободен сейчас от страха быть осмеянным за то, что так мне нравится теперь наивное: “Белой акации...”. Других дуэтов нет, а этот сам по себе даёт боль-

ше всего. И хорошо, что здесь мои товарищи по батальону очень симпатичны.

Аня моя милая, моя чудная, моя нежная! Как мне хорошо сегодня, когда протянулась от тебя ниточка той близости, о которой ты тепло вспоминаешь, говоря о последней нашей встрече.

Письмо от 22 июля:

Сегодня плохо. Дождь шумит, ветер, слякоть. Наша халупа без дверей, всюду с дырами, почти без свету, так как только в двух окнах есть стёкла, — остальные закрыты ставнями.

Чувствуешь сырость, руки холодеют. Ждал твоего письма. Оно меня не обмануло <...>.

“Откопал”, по выражению Павла Ивановича, опять хорошее стихотворение в “Нов<ом> Сатириконе” Арк<адия> Бухова: “Нерассказанное” (№ 29). Интересно, что здесь у многих стихи находят заслуженное признание: ведь теперь любить поэзию не в моде. Оно очень похоже на мои прежние, может быть, даже недавние мысли о тебе. Только в них нет идеи “величия”, идеи царевны <...>.

Моя любимая, моя родная! Как мне сейчас дорого, что у меня есть кто-то близкий-милый, кого так радостно любить, кто — я знаю — меня теперь любит. Без этой сказки трудно было бы ко всему привыкнуть, что приносит проза военщины. А сейчас как скоро и легко я уживаюсь здесь со всеми неудобствами.

Твой Толя.

А вот — письмо Ярмоловича от 26 июля 1916 года, уже из военного эшелона:

Аня милая! Вчера со станции Лунинец послал тебе секретку без номера. Сейчас заходит солнце. Приближаюсь к ст<анции> Коростень, откуда получу новый маршрут <...>. Дороги этой на карте нет: отрадно — у нас за войну возникли новые железнодорожные ветки. Не знаю, когда отправлю это письмо. Нигде не могу купить марок, даже ящики для писем не везде.

Что думается? Ничего, раз не знаешь совсем назначения. Слухи всякие — от генерала Брусилова до Болгарии. Как чувствую себя? Прекрасно: со старым скучным фронтом покончено; жизнь в вагоне лучше всякого житья по грязным деревенькам; погода отличная. Едем довольно скоро, почти “срочно”: стоим немного, кухни готовят обед в вагонах, а не на этапах. Правда, перед большими станциями простаиваем у закрытого семафора, но дело здесь в перегруженности больших узлов. А дорога красивая — даже новые станции все каменные, местность — лесистая и чернозёмная, встречаются красивые черниговские крестьянки; спокойным шагом, без напряжения тянут плуги во-лы. Нищая грязная моя родина уже на севере.

Сейчас закат. В новом теперь, северо-восточном направлении буду смотреть я в эти часы (ведь я не разучился и теперь искать тебя во время заката). Много читаю сейчас, много смотрю на твои карточки (они всегда со мною — в бумажнике, в кожаной куртке). Почему мне так грустно сейчас о тебе — не пойму. Сквозь строки читаемых книг, сквозь разговоры я чувствую эту тоску <...>. Моя любимая, моя родная царевна!..

Вот письмо В. Ф. Ярмоловича от 8 августа 1916 года, очевидно, уже из Предкарпатья:

Мой чудный Котик! Сегодня ровно месяц со времени моего прибытия в полк. И только сегодня могу снова приняться за письмо. Может быть, оно и не пойдёт скоро, но мы остановились и потому хотя бы послать его в канцелярию можно. От тебя вестей никаких, и нескоро ещё наладится почта: нас переводят из корпуса в корпус и там путают номера полевых контор. Уже мы вёрстах в 140 от места прежнего письма <...>. За это время много ночей прошли пешком, днём останавливаемся где-нибудь в тоскливом безлюдном местечке, где жителей мало, нет продуктов... Ночи здесь холодные, но в палатках тепло. А днём, около 12 часов дня, пошли на смотр к генералу, герою фронта. Жара 35, разморило солдат. Генерал — боевой: ему не нужны парады; поздоровался с солдатами, вызвал нас всех и в 5 минут высказал, чего он хочет от нас (возможно, речь идёт о знаменитом герое войны — генерале от кавалерии Алексее Алексеевиче Брусилове. — А. П.). Чувствуется живая

работа, энергия, инициатива. А к вечеру уже все собрались, и до полусотни автомобилей стали перевозить нас вёрст за 60 по горам. Палатки увезли, и мы всю ночь ждали своей очереди; холод так и не дал уснуть. Сидел я у костра и думал о ком-то далёком и милом. Когда трудно или грустно – я весь ухожу в тоску о тебе.

Утром поехали. Солдаты торжествовали, видно. Я был рядом с шофёром и здесь изумлялся их безумию и смелости – постоянная быстрота, резкость поворотов, а они ведь работали без смены и сна вторые сутки (правда, в другое время они бездельничают). Дорога горная: с одной стороны – высокий крутой подъём, с другой – спуск к вечно-шумящей, быстрой горной речке, а за нею опять гряды гор, одна за другой, с красивой зеленью леса, лишь изредка как будто острижена вершина горы, деревьев нет, и солнце особенно ярко освещает небольшую покатую поляну. Дома уже деревянные, – видно, что горы, – но так же чисты и окружены садами.

Опять – постой до вечера, а там поход, уже пешком и не очень простой для меня: автомобиль всё-таки по дороге сел в канаву, скатившись с подъёма; я ушиб руку (солдаты в скатках не пострадали – мягко), к тому же заболело горло. Дорога идёт всё время по горным речкам – их всё время приходится переходить, зачастую вброд (они очень мелки), так как мосты не все удалось исправить. Здесь уже местность беднее. Мало культурной земли; горы – в обладании евреев и мадьяр. В местечках пусто. Останавливаемся в домиках, где скоро удаётся навести чистоту; обоев нет, но их удачно заменяет обыкновенный обойный сплошной трафарет по штукатурке. У жителей находили кроны, бумажные деньги, медальоны с надписью “Gott strafe England” и т<ому> п<одобное>, изредка – пианино, хотя чаще всего расстроенное.

Здесь, кажется, постоим денёк-другой. Погода испортилась – сегодня дождь.

У тебя ведь ещё отдых? Что-то ты делаешь? Я ничего ведь не знаю. А люблю всё так же пылко, как было. Так часто мне хочется вызвать в себе воспоминания о Трубеже <...>, о встрече последней. “Склонитесь вы, царевна, в тишине...”.

Твой Толя.

Письмо, датированное 18 августа 1916 года:

Аня, милая! Несколько дней не писал: часто руки холодеют, да и день уходит весь на сон – давно уже ночного сна не знаем. Вчера впервые пришла почта <...>, но не ко мне, самому ревностному корреспонденту. Почты немного; видно, что старая ещё не пришла, а более новая, направленная уже сюда непосредственно, не вспомнила обо мне. Тебе не упрёк: я знаю, что ты в своём отпуску лишена была почтового сообщения.

Три дня постояли на позиции наши роты, сегодня с отдыха опять под утро уйдём туда. Начинаются серьёзные дни, о них ты скоро прочтёшь в газетах. Для нас – сегодня или завтра. Ещё на позиции узнали о выступлении Румынии. (После знаменитого Брусиловского прорыва Румыния уверилась в силе русского оружия и вступила в войну на стороне Антанты – военного блока, в который входила и Россия. – А. П.). Всю ночь проговорил о ней в окопах с нижними чинами (днём в окопах не нужно присутствие – всюду война только ночью). Какие дети – солдаты, и глупые дети! Ни о каком укрытии сами без приказа не позаботятся, и только присутствие офицера может успокоить их волнение с наступлением ночи. Именно здесь ясно чувствуешь свою необходимость и... гордость, что служишь в пехоте: только здесь видишь ясно всё её значение, весь её труд и всё её нравственное преимущество перед другим родом войск. Вернусь когда-нибудь, расскажу яснее.

День пройдёт сегодня тихо, как проходили и ночи здесь в резерве. Скучно только. По вечерам занимались только мы с батальонным стихами: у него, как и у меня, много в полевой сумке разных листочков из газет и журналов с понравившимися стихами. Здесь так остро переживаешь отсутствие красоты (конечно, об этом тоскует не большинство).

Я, кажется, только это чутко и переживаю. Во всём остальном я страшно уравновешен, спокоен. Как будто нервы все сжаты в кулак, и никакого волнения не вырвешь в них. Вчера даже позабыл упасть на землю, когда близко, шагах в 40–50, разорвался тяжёлый снаряд (нужно падать и раскрывать рот –

во избежание контузии); нарочно подходил к израненным и убитым. Это не бравадование и не храбрость (её здесь почти и не бывает), а какое-то особенное, подготовленное убеждение во всём возможном — и потому очень простым.

Сейчас вышел из чащи гадких елей на миленькую мшистую полянку, уселся и пишу на моём письменном столе и подушке — полевой сумке. Здесь и солнце греет, и вид открывается широкий на горы, и растут какие-то высокие стройные красноватые цветы. И о тебе можно думать свободнее.

Как я тебя люблю! Раньше, до наших последних встреч ты была больше королевой и величеством. Потом, а особенно теперь, я чувствую от тебя как-то много-много тепла; от одной мысли тоски о тебе мне уже уютно. И преклонение преждее зажило вместе с глубокой нежной привязанностью к тебе.

Следующее письмо Ярмоловича от 23 августа — уже с боевых позиций:

Счастье моё, моя радость, мой хорошенький Чёрный Котик! Третий уже день приходят от тебя письма, по несколько, в спутанном порядке... Что же сказать тебе? Что я безумно рад, счастлив? Ты это знать сама должна. Досадно, что нельзя было ответить: всё время было холодно так, что мёрзли руки, а со вчерашнего дня появилось солнце, но приказали снимать дознание по поводу одного "самострела" с пальчиком (вероятно, скоро расстреляют; да так и нужно). Стоим сейчас в окопах четвёртый день. Идёт наступление по всему фронту; перед нами мадьяры и германцы (сейчас над нами летает аэроплан с крестами, по нему бьют наши пулемёты). Наша рота держится на месте, но каждую минуту должна быть готовой идти вперёд или принять на себя удар.

Чувства страха всё ещё нет. В себе лично я замечаю странную реальность мысли. Ещё никогда, кажется, в жизни я не ощущал в себе такую гармонию воли, убеждений, поступков и... чувства. Помнишь, я говорил тебе, как я представляю себе близкое будущее вместе с моей любовью к тебе? Я думал правильно. Когда-то раньше, в отношениях к другим женщинам, я резко отделил от своего дела эти отношения. Сейчас я их — напротив — слил. То, что я здесь, и то, что я тебя люблю, — это одна неразделимая моя жизнь. И так просто и равнодушно я смотрю на раненого моего солдата, слышу, как визжит пуля надо мной, близ меня, узнаю, что убит прапорщик, прибывший одновременно со мною в полк.

Аня! Это не доблесть, не храбрость. Я бы даже не хотел, чтобы появилась эта мысль у кого-нибудь. Здесь просто есть та глубокая концентрация духа, которую знают мистики, глубоко верующие и люди здорового рефлекса. Я из последних, конечно. Я никогда себе не прощу разлада между мыслью и волей. А прозу, схематичность, логическую сухость своей природы я счастливо скрасил всей глубиной любви к тебе.

Мне почему-то неприятно, трудно говорить об этом. Я не пойму и сам. Быть может, страшно, что до такой глубины открываешь всю душу перед тобой, до какой никто ещё не допускался мною...

Сегодня тринадцатый день позиционной жизни. И, кажется, не скоро смена. 13 дней уже не раздвались, не спим по ночам, не видим людей, кроме своих. До письма единственной живой струёй были маленькие польские книжечки из Коломны. Сейчас — письма. Пиши же, мой милый, мой дорогой Котик. Чем дальше от тебя, тем ещё дороже становятся знакомые конверты с быстрым почерком.

Твой Толя.

Артиллерия успокоилась, а письмо уже нужно кончать: сейчас придёт денщик с обедом.

На следующий день, 24 августа, Ярмолович шлёт Анне новое письмо:

Моя родная! Вчера вечером, уже в окопах, получил два письма <...>. Зашёл в блиндаж (взводные в двух шагах от окопов устраивают себе маленькие блиндажи; там может гореть свеча, и санитары ночью перевязывают раненых), прочёл — и хорошо, и тепло стало на душе от этой милой ниточки к далёкой любимой девушке, царевне, минутной невесте. Милая, любимая, нежная Аня! Какой красотой полно всё, что говорит о тебе, — красотой настолько сильной, что всё здесь сразу становится лучше, легче.

Как странно! В конце июля писала ты это лучшее письмо, вчера я писал своё тебе — одни и те же мысли вечером увидел я в них. Ты говорила, что не желаешь претендовать на половину моей жизни, а я вчера же высказал, что обе

половины эти слил я в одно – и странно свободен я в своих поступках и в то же время ты царишь и в них, как и в моём чувстве, в моей любви к тебе...

Сегодня уже сменились, дня на четыре, т<о> е<сть> стоим в резерве, шагах в 500 от позиции. Значит, можно спать по ночам и жечь в шалаше огонь, чтобы согреться. Но завтра утром надо мне идти с большей частью роты на работу (исправление дорог). Нужно до рассвета пройти вёрст 5 и в сумерках уйти в убежище от тяжёлого обстрела. Вот почему сейчас спешу написать письмо. Сейчас половина девятого; уже затрещали на позиции, а где-то далеко-далеко на северо-востоке хорошенькая сестрица в сером несёт дежурство (ведь так?). Как мне хорошо, что я знаю, по крайней мере, это о тебе сейчас, когда подумаю.

Какая ты чуткая! Затосковала немного в письме, что в комнатке твоей нет меня... Котик мой! Ведь совсем не грешно скучать, желать встреч и... не любить современности. Мы не убегаем от неизбежности, но любить другое, желать Трубежа, скамейки в твоём саду никто не может запретить нам обоим.
Твой Толя.

Очевидно, письма были для влюблённых единственной отдушиной в тяжёлое военное время. От письма к письму почтовый роман разгорался всё сильнее, всё ярче. В своих посланиях влюблённые перешли на “ты”, и Ярмолович стал подписываться уже не по имени-отчеству, а просто: “Твой Толя”. Трогательная переписка продолжалась до конца лета 1916 года, а потом Анна перестала получать долгожданные весточки от любимого. Девушка мучилась неизвестностью, не спала ночей, снова и снова отправляла пронумерованные послания Витольду. В ответ – ни строчки...

Спустя много лет стало известно, что Витольд Фаддеевич Ярмолович в боях на Юго-Западном фронте командовал 15-й ротой 253-го Перекопского пехотного полка 64-й дивизии. В одном из боёв, 31 августа 1916 года, в Карпатах, при штурме высоты Деалу-Орлулуй прапорщик Ярмолович, командуя ротой, под сильным артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём вместе с солдатами преодолел провололочное заграждение и ворвался в первую линию вражеских окопов. С боя захватил пулемёт противника. Получив тяжёлое ранение, не оставил строя, а приказал нести себя на руках и преследовал бежавшего противника, пока не был поражён ещё четырьмя вражескими пулями. В. Ф. Ярмолович пал смертью героя и за мужественный подвиг был посмертно награждён Георгиевским крестом 4-й степени.

Уже в наше время, благодаря архивным поискам московского краеведа-архивиста Александра Игоревича Григорова, удалось (пока предположительно) установить, что Витольд Фаддеевич Ярмолович был похоронен в Москве, на Введенском (бывшем Немецком) кладбище.

А тогда, в апреле 1917 года, после смерти возлюбленного, Анна Мельгунова получила из Москвы письмо от Ванды Ярмолович – сестры Витольда, которого они между собой называли Толиком:

Дорогая Анна Ивановна!

Что-то о Вас ничего не слышно. Всё время ждём Вас к себе. Теперь самое время освежить могилу Толика – теперь, я думаю, можно и посадить сирень. Пишите скорее, как приедете и приедете ли вообще? А мы без Вас соскучились, очень часто говорим о Вас. Приезжайте же скорее <...>. Пишите <...>, когда приедете.

Целую Вас крепко.

Ванда.

Побывала ли Анна Мельгунова на могиле Витольда Ярмоловича и посадила ли там куст сирени – неизвестно. Зато известно, что в том же году она уехала из Рязани на фронт и поступила в отряд Красного Креста. После революционных событий оказалась в Красной армии и стала работать сестрой милосердия санитарного поезда. Здесь произошло её знакомство с начальником поезда, врачом Младеном Петровичем Мирчетичем. Серб по национальности, он бежал из Косова от притеснений турок, предварительно заручившись рекомендацией российского консула для поступления в Московский университет. Во время учёбы на медицинском факультете он участвовал в сту-

денческих волнениях 1905 года, был исключен из университета, затем восстановлен. Работал врачом в отдалённом уголке Тамбовской губернии, а когда разразилась война, ушёл на фронт и стал начальником санитарного поезда. Здесь-то представительный серб и познакомился с обаятельной рязанкой. Анна вместе с Младеном Петровичем вывозила с передовой раненых, ассистировала ему при операциях.

По окончании гражданской войны Анна Ивановна вышла замуж за доктора Мирчетича и вместе с мужем вернулась в Рязань. Младен Петрович работал главным врачом в одной из рязанских больниц. Удостоился ордена Ленина. Умер в 1973 году.

Наша героиня жила со своим супругом в мире и согласии. Чета Мирчетичей вырастила сына Светозара, дождалась внуков. Скончалась Анна Ивановна в 1955 году. Немало было в её жизни страданий, немало и счастливых дней. И всё-таки всю жизнь бывшая сестра милосердия хранила свою переписку с Витольдом Фаддеевичем Ярмоловичем. Переписку времён Первой мировой войны.

***В публикации использованы документы из фондов
Российского государственного военно-исторического архива
и письма из семейного архива
М. С. Мелешковой, урождённой Мирчетич.***